

Темница без оков

(Главы из повести)

«Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков...

Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы, ибо весь мир был освещаем ярким светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их; но сами для себя они были тягостнее тьмы.»

Премудрости Соломона, гл. 17.

Повесть «Темница без оков» была написана ленинградской писательницей Н. Малаховской в 1974 году. Мы помещаем две главы из этой повести: пятую главу первой части и первую главу второй части.

Наутро солнца не было. Пасмурное было утро и холодное. Ян отпер дверь, вошел в квартиру.

В тишине раздавался тонкий Анин голосок. Ян подошел к приоткрытой двери в кухню. Аня пела, песня была грустная и такая странная:

— Я на кончик пики
Повяжу платочек,
На твои на синие
Погляжу глаза...

На слове «синие» у нее голос искривился, последние слова она почти прошептала и замолчала. Ян толкнул дверь, вошел, — —

— Ян! — Аня обернулась ему навстречу.

Он смотрел на нее в растерянности, будто не узнавая. Глаза у него были блестящие, как от высокой температуры.

— Где ты был?

— Нигде. В Праге.
— Но всю ночь...был дождь.
— Да. Я...сейчас пойду.
— Куда?!

— Ты хочешь, чтобы я не был.

— Это неправда. Ян...

— Я...мучал тебя?

— Нет, я не знаю. Я не знаю, кто нас мучает... Пойдем в комнату. здесь холодно.

— Не гневаешься больше на меня? — он остановился на пороге. Она оглянулась. —

— Какой ты! — от слез ее глаза казались еще больше. — Это ты должен на меня гневаться.

В комнате казалось теплее от мягкой мебели. Аня с ногами забралась на диван, закуталась в пиджак Яна, — так непрвычно она выглядела под серым пасмурным светом.

— Dnes gaпо, — начал Ян, — я пошел к Вашеку...

— Да?

— И он...не дается с ним говорить. Когда ты уедешь, ни с кем буду говорить.

— У тебя останется твоя музыка.

— А у тебя — твои образки.

— Какие образки?

Ян кивнул на альбом, торчащий из-под книг на столе.

— Ты думаешь, мама даст мне в этом году рисовать? — Аня покачала головой.

— Она еще весной говорила, что не даст мне больше чепухой заниматься.

— Какой чепухой?

— Ну рисовать. Она всегда надо мной смеется, как я рисую, вообще обещала у меня все картинки отнять. Говорит, художники никому не нужны, и вообще это несерьезно, им гроши платят. У нас, говорит, висеть на шее собираешься — или у мужа?

— У мужа? — Ян глядел на нее бледный, ничего не понимая.

— Ага. Говорит, мне твой муж спасибо не скажет за такое сокровище.

— Это не люди! — он сделал несколько шагов по комнате, как бы не зная, куда деваться. — Разве такие люди бывают? — в замешательстве он обвел глазами стены, балкон.

— На балконе меня от них спрятать хочешь? — усмехнулась Аня.

— Почему? ... ты и в комнате жить можешь.

Она подняла глаза, оглядывая стены, мебель.

— А что — хорошая комната. Вон там можно раскладушку поставить.

— Какую кладушку? опешил Ян.

— Чтоб мне спать.

— Я тебе свой диван дам, а сам пойду в гостиную.

— Так это будет моя комната? — не поверила она.

— Еслипустишь меня делать уроки...

— Так уж и быть, — разрешила она, — как хорошо-то! Целая комната. — По-новому она оглядела каждую вещь, и все ей показалось уместным, симпатичным, как и надо. Она перевела взгляд на Яна, — он все-таки был самым лучшим в этой комнате, ей даже показалось, что комната много проиграет без него; вообще без него будет скучно. Она вздохнула и сама подошла к балкону.

— И вы никто не будете говорить, что я — дура, даже если я стану рисовать?

— Что ты! Мы все рады, что ты рисуешь. Хочешь, я тебе масляные краски куплю?

— И вы...не будете надо мной смеяться?

— За что над тобой смеяться?

— Что я не такая, как другие.

— Все не такие, как другие. Разве надо мной смеются?

— Как хорошо...когда никто не смеется.

Правда? Да, Катержина очень добрая. И дядя Вацлав хороший. Я вам буду картошку чистить.

— Нет, я сам буду! А ты только рисуй...и танцуй. Я не буду смотреть, если ты не хочешь.

— Может быть, я тебе потом разрешу.

— Почему?

— Как ты танцуешь — это лучше всего. Ты не сердись, что я смотрел? Я же не знал, что не хочешь.

— Я уже не могу на тебя сердиться. А то если сейчас сердиться, я уже не успею тебя простить.

— Почему? Ведь ты же остаешься! Ты будешь жить здесь.

— Ян, — перебила она, — хватит уже. Не надо больше так играть.

— Я не играл. Зачем уехать, если ты не хочешь?

— Какой ты ... нет, не глупый, а просто ничего не понимаешь!

— Почему я ничего не понимаю?

— Не знаю. Просто ты совсем не такой...У тебя даже походка другая. Когда ты идешь, это похоже...вот помнишь, та музыка, мы однажды в Бертрамке слышали? Не Моцарта, а...

— Мысливечка?

— Да, Мысливечка. Я вообще таких людей, как ты, не видела. Ты не понимаешь, что если чего-то хочешь, то как раз этого и нельзя.

— Почему нельзя, если хочешь? — он с тревогой и недоумением смотрел на нее.

— Потому что это всегда так. Я уже привыкла. Да вот хоть с музыкой — как было. Я ее полюбила — а зачем? Я так просила, чтоб мне купили пианино, чтоб музыке учиться, так плакала, а они только смеялись.

— Кто они?

— Родители. Это потому, что я хотела. А если бы не хотела, меня бы нарочно заставляли, как других. Поэтому лучше никогда ничего не хотеть. Понимаешь?

— Не понимаю. Они тебя просто не любят.

Она пожала плечами:

- Все всех не любят.
- Почему?! наоборот, меня все любят.
- Тебя...
- И тебя: Катержина, и мой папа...
- Да, они не такие, но на самом деле...
- Что на самом деле?

— Ну как бы тебе это объяснить... Вот выходишь на улицу — тебя могут толкнуть, стукнуть, сумку из рук выбить, — никому и дела нет. В магазине обсчитывают — ну если не обсчитают, так обвесят обязательно. В столовой обругают, в прачешной ругаются всегда, и в автобусах...

— Тебя ругают? — удивился Ян. — За что?

— Ни за что. Им просто нравится ругаться, им это удовольствие. И вещи такие делают! Стол купили — ножка отвалилась, проигрыватель — сразу испортился, туфли всегда до крови ноги натирают, потолок протекает, пол проваливается, — чинить не хотят, и вообще... Если б все всех любили, разве стали бы так все делать? А когда уже так обижают, что идешь по улице и плачешь — ведь никто не подойдет, не спросит, всем наплевать!

— Ты плачешь?

Стало тихо. За окном все больше темнело, мрачная башня, нахохлившись, глядела из-за мокрых крыш.

— Я тебя... не пущу, — выговорил, наконец, Ян. — Я не хочу...

— Разве мы можем хотеть или не хотеть?

— Не пущу тебя, — почти шепотом прибавил он.

— Кто ты такой, чтоб не пустить?

— Кто я? — он удивился. — Я — человек.

— Нет, Ян! Это так только кажется. Это только на вид. А на самом деле мы не люди, мы ничего не можем.

Над Аларчиным мостом, над его перилами — чередой вертикально вытянутых чугунных колец, — над покосившимся зеленым ларьком, где вчера продавали арбузы, — сероватое и жемчужное брезжило утро.

Аня медленно шла по влажному тротуару: Крюков канал, горбатый деревянный мостик, Никольский собор слева, — и она снова углубилась в тесное ущелье, по дну которого протекал канал.

Есть в Ленинграде одно заколдованное место. Стоит всего шаг ступить в сторону с какой-нибудь вполне приличной, обкатанной улицы. — и вы вдруг окажетесь в этом сомнительном углу, где, кажется, даже столбики автобусных остановок поставлены только для виду, чтоб успокоить случайно забредших сюда прохожих. Странные дома обступят тут вас со всех сторон, какими-то подозрительными взглядами они будут вас провожать. Вам захочется прочь — но не тут-то было! Уклончивый канал виляет то вправо, то влево, и согласно ему круто поворачивают застывшие здания.

Вон на том берегу тихий особняк с треугольным фронтоном, загадочный в сумерках, с окнами, за которыми ходит неведомо кто, с раскрытой дверью балкона и невнятной, чуть слышимой музыкой. И уже можно погрузиться в приятную, безболезненную задумчивость, припоминая печальную грацию андерсеновских сказок, — как вдруг вода из-под ног глянет на вас таким оком, что вы оторопеее. Не одной грубой силой может вода погубить человека: она подкрадывается неслышной сыростью, опутывает липким смрадом. А модный когда-то и до сих пор гордый особняк с башенкой смотрит с того берега глаза в глаза приземистому грязному дому с такой подворотней, в которую не всякий решится зайти.

...Аня брела, спотыкаясь о грязь и мусор какой-то стройки. По тому берегу тянулось бесконечное здание: багровые кирпичные стены, груды сваленных ящиков. Аня знала наверняка, что придет сюда чуть ли не в первый же день, как приедет. И теперь в нетерпении она ускорила шаг. За скудной листвой на том берегу мелькнуло что-то серое. Аня прошла еще два шага и остановилась.

Из глубины воды вырастают мощные колонны, в них упираются точно такие же, охваченные полукруглой аркой. В проеме — вверх и вниз распахнуто небо, словно створки дверей откинута на обе стороны, разрывая напополам глухое замкнутое пространство. И отсюда вырывается на волю — простор. Невероятный и неведомый, какого и быть здесь не может.

...Чего ты палку сосеешь? — раздалось за спиной. Аня вздрогнула, оглянулась: мимо проходила пожилая женщина, держа за руку мальчика в черном пальто. Кругом было очень пустынно, ни одного больше прохожего. На стене соседнего дома чрезвычайно аккуратно, с маленькой буквы, было выведено: «добрякова — мешок с жиром». Аня опустила глаза: по бурой воде изгибаются смолистые разводы, седые завитки, покачиваются тугие серые комья. Во всем этом и отражается арка. Аня снова взглянула на нее — словно вздохнула полной грудью. Ворота в никуда, за ними — низкие, невыразительные строения...нет, скорее — ворота в небо (но почему с такой тоской, с такой щемящей тоской смотрят на меня эти стены?) И все-таки они летят, хоть непомерно малы раскрытия.

Теперь — все равно, куда. Но не домой. Аня обогнула Новую Голландию, пересекла площадь Труда и, миновав угловой гастроном, вошла в великолепную панораму набережной.

За чугунными перилами шевелилась водяная масса точно такого же чугунного цвета. Едким смрадом ударяли в лицо с воем проползавшие по мосту машины. Аня поймала себя на том, что идет сгорбившись, опустив голову и не глядя по сторонам, словно торопится скорей уйти прочь отсюда. Еще не веря себе, она замедлила шаг, потом остановилась и подошла к перилам.

Плоская пустыня расстилась перед нею. Солнце с грязновато-белого неба распространяло от себя металлический блеск: он как-то неестественно ложился на воду, жирной пленкой на ее мускулы, перекатывающиеся под угольной кожей. А дальше волны брели стадами, безропотно, все уменьшаясь к горизонту, и туда же брели квадратные дома, безучастно уставившись в пространство. Величественный гранит набережной такой гладкий, и люди по нему скользят ненужные, посторонние. Как с гуся вода. Слева — хищные мертвые звери перед входом в желто-белое здание. Справа вдавлен в каменную массу тусклый пятак — купол Исакия. И кажется, наощупь город холодный и скользкий, как кожа древнего ящера, обитателя болот.

... В самом деле — зачем сомневаться и мучиться, выращивая город любовно и со вниманием, как садовник — свой сад? Если у человека есть железная воля и к тому же очередные стратегические задачи, ему это вовсе не к чему. Место можно выбрать самое отвратительное — хоть прямо посреди болота; климат — пожалуй, пусть и вовсе невозможный для жизни — лишь бы только соответствовали тем назначенным задачам. Жертвы? О жертвах человеку с железной волей думать не приходится, на то ему и воля, чтоб считать их на тысячи, на миллионы — и тут же сбрасывать со счетов. Изучить все науки, объездить все города, чтоб не заметить самого главного и самому не вырастить, а выбить из мертвеющего камня, не с любовью, а с ликованием всевластной покоряющей воли. Ровно, по линейке, навсегда.

... Вот перед нами душа человека. Если бы мы вспомнили, что она — живая, не менее живая, чем цветок, мы бы не стали кропать ее ножницами для придания ей более симметричной формы. Но к чему так долго сомневаться и мудрить? Метод есть, он ясный и проверенный. Есть и очередные стратегические задачи: сделать из человека то, с чем нам удобно будет жить. Ласковость? Это хорошо; но не слишком: вот до сих. Отрезать. Это что? Это ладно. А вот это что тут? Это нам не подходит. Яркая краска, сильный звук, неудержимое чувство? «Вот именно это мы в тебе не любим, а не тебя не любим.» Где там линейка и ножницы? Спрявим линию. Вот так, блестяще. Что, завянет? Ничего, не завянет! А сильная воля на что? «Смотри, какая у тебя сила воли, как хорошо ты выполняешь свое решение!»

И вот появляется человек с сильной волей. Нравственное совершенство. Ходит только прямо, по-другому не умеет. А сильная воля поможет не заметить, чего же хочет он сам, поможет выполнить стратегические задачи ведущей руки. Вот так. Шаг и еще шаг. Уроки делать полезно, а чепухой заниматься вредно. А о

живом человеке и подавно думать ни к чему, на то тебе и сила воли. Забыть. Где там линейка? Провести безукоризненную прямую — и отрезать. Ну вот и все в порядке. Забыть и куда-нибудь поглубже, чтоб на глаза не попадалось. А воспоминание — оно согласно. Оно ничем о себе не напомнит, оно даже совсем умрет. Там, в незаметной глубине твоего существа, в живой благодатной почве — крохотное семечко. Ты забыла, чем смерть оборачивается для семени? Нет, где тебе помнить, ты не умеешь только по прямой.

Домой Аня добралась, когда солнце уже садилось. По булыжникам подворотню прошла в тесный двор. — Господи, — вдруг проговорила она про себя, — как это больно — запрещать!.. Ее взгляд тем временем скользил по облезлым стенам, настолько грязным, что сама эта грязь казалась чем-то значительным, полным тайного смысла. Она свернула в низкую дверь, очутилась в темноте. Не вслушиваясь, она входила в запах кошек, помоев и какой-то кислой гнили, всходила по склизким ступеням, мимо сломанных перил, скрученных проволокой. Ссутулившись, в черно-коричневой форме, она казалась маленькой старушкой с оцепенелым, сосредоточенным лицом.

Вот эта дверь — ей с детства казалось — вдруг откроется, за ней — темный провал какого-то затхлого и страшного зала. И в том зале стоит строгая женщина в суконном зеленом, как у мамы, костюме. Внезапно вокруг ее талии раскрываются медные лопасти — и сжимаются с гулким стоном, хлопают, как у игрушечной «Дюймовочки». Нежилой запах, запах чего-то казенного... Страшно тут все, каждая подробность: и тусклая медь, и мертвый ее звон, и даже этот убитый зеленый цвет, — много такого зеленого было в ту пору, как та вывеска на сберкассе, где ее вытошнило и где висел на стене портрет Сталина. Так вот прямо, как войдешь, — да нет, это был не портрет, а целая картина: Сталин на желтом поле в своих черных сапогах беседует с трактористом. И потом — вот интересно, ей никто ничего плохого о Сталине не говорил, но ее начинало тошнить каждый раз, как она видела его портрет.

Наконец, она добралась до своего этажа. Позвонила: прогрохотал чугунный крюк, и она очутилась в приторном воздухе коммунальной кухни перед лицом своей матери, Веры Павловны.

— А-а, Анютка! Пришла... говорила мать. Звучание ее голоса было такое приятное, словно она вздыхала с облегчением. Вера Павловна повесила плащ на вешалку и теперь, держась рукой за стену, снимала туфли. Аня кинулась и проворно подставила матери тапки.

— Спасибо, доченька. Ну, как у тебя в школе? Писали сочинение?

— Ага.

— Ты какую взяла тему?

— «Мой любимый герой».

— О ком писала?

— О Фучике.

Мать нахмурилась:

— Не могла кого-нибудь из наших взять? Что, у нас своих героев, что ли, не

хватает? — она подозрительно взглянула на Аню. — Не могла написать о Зое Космодемьянской, о Матросове?

— Но я... — начала Аня. (Ведь сказано же — любимый! — чуть не сорвалось у нее.)

— Ну? — строго спросила мать. — Что — ты?

— Я думала... я читала, и у меня мысль такая была... пролепетала Аня. Она понадеялась, что слово «мысль» ее спасет. Действительно, ведь была же у нее еще и мысль!

— Твои мысли пока никого не интересуют, — отдельно произнесла Вера Павловна. — И если ты хочешь когда-нибудь поступить в институт, запомни, что твои мысли никому не нужны. Поняла? — она взглянула своими темными тяжелыми глазами, словно угрожая, будто взглядом внедряясь в глаза дочери, чтоб раздавить в них все лишнее, чужое и еще глубже впечатать свою волю.

— Поняла, я спрашиваю?

— Нет, не поняла, — прошептала Аня, опустив голову.

«Жалкие, светлые волосы, — внезапно с каким-то брезгливым чувством подумала Вера Павловна, — и тонкие, как пух».

— Ну, так подумай о том, что я сказала, — веско произнесла она и, отвернувшись, пошла в комнату. Она шла, высоко неся голову, величественная и неприступная.

Аня поплелась в бабушкину конурку. От сети дождя, что невидимо была расставлена в воздухе, ее теперь познабливало. Она скорей сняла форму и закуталась в бабушкин платок.

— Бабушка! — прошептала она, грея ноги в клетчатых бабушкиных шлепанцах. Со стула свисали черные крылышки передника, крапленные дождем. Забыв о времени, сгорбившись, Аня сидела на диване. И никто не знал, о чем она думала, упорно глядя в слезящееся окно, под паутиной сумерек и в сером платке, похожем на большой клоч паутины.

— Анютка, выйди скорей, у нас гости! — укоризненно шептала мать, просунув голову в дверь. Аня, опомнившись, встала. Она ничего не могла понять: почему так темно, почему снова так ласков стал голос матери, а из коридора доносится веселый гул.

— К нам тетя Эра из Москвы.

— Да? Одна?

— С какой-то своей ученицей. Иди скорей, сбегает купить чего-нибудь вкусенького.

— Знаешь, мам, пошли лучше Володьку, я замерзла, промокла сегодня.

— Ничего, оденься потеплее. Володька никогда ничего путного не купит. Ты же у нас специалист в этом деле. На, вот тебе денюжка.

За склизкими от сырости стенами, в тесной комнатухе, освещенной светильником болотного цвета, сидели люди, старавшиеся развеселиться, и пели веселые песни. Худощавый Александр Николаевич, приклонившись к гитаре, пел тенором:

— «Но не осталось там души ни крошечки
она

Она для милой Верочки моей» — и поглядывал на жену ласковыми глазами. Вера Павловна укоризненно покачивала головой, едва скрывая удовольствие. Она сидела гордая, даже седина в ее густых черных волосах сияла празднично, как кружева белой блузки. И она пела молодым счастливым голосом:

— Вперед же по солнечным реям
На фабрики, шахты, суда, —
По всем океанам и странам развеем
Мы алое знамя труда!

Пели с воодушевлением, словно что-то, чего нельзя высказать словами, дохнуло им в лицо и вновь воскресило их. Седые, покрытые морщинами, пели со всей страстью юности. Володя, как всегда, не пел, сидел сгорбившись и рассматривал чашки на столе. Спутница тети Эры, Тамара, с робостью и, пожалуй, восхищением глядела на поющих: она и рада бы подпевать, да не знает этих старых песен. Одна только тетя Аня пела все песни до конца, поднятая тою же волной. И тетя Эра, как давеча Павол, восклицала:

— Ты знаешь наши песни!

Тут наступал черед родителям с гордостью переглядываться. И песни звучали — почти независимо от тех, кто их пел — оживляя невозвратимое, немислимое теперь время.

За стеной, в комнате соседей, укрывшись с головой одеялом, потихоньку плакала в своей постели шестилетняя Танечка. Она плакала из-за этих песен, — из-за того, что в песнях все так хорошо, а на самом деле никогда так не бывает. Она плакала о яблоках и грушах, которые представлялись ей совсем не такими, какие мать приносила из магазина. Они были огромные, загадочные, от них даже как будто исходило свечение. Она плакала как о личной, невозвратимой потере о тех молодых капитанах, которые с такой покоряющей отвагой вели наш караван сквозь бури, ветры и ураганы. И веселых подруг, как родных, как близких и пропавших, ей было жалко. И о том серебряном голосе она плакала:

— И подруги серебряный го-лос
Наши звонкие песни поет! —

Услышав среди всех голосов один настоящий серебряный, девочка заплакала еще горше. В угловой комнате на пятом этаже, говорят, живет людоедка; по их собственному коридору живьем разгуливает баба-яга, а все для приличия

называют ее нормальным именем «Ксения Васильевна». Так, может быть, и Аня, которая живет за стеной, на самом деле никакая не Аня, а просто заколдованная царевна? Отчего же у нее такой серебряный голос? Отчего у нее всегда такое грустное лицо, если ее не заколдовал никакой колдун или Змей Горыныч?

— Про того, чьи письма берегла, — доносилось из-за стены.

... Среди голубых и сиреневых туманов просвечивали золотом магические яблоки и груши; по колдобинам неровного берега крутого кралась Аня к большому рассохшемуся дубу и, пугливо озираясь, прятала в дупло пачку писем. Больше Танечка ничего не видела, — она заснула среди песен и слез.

Радостная, разгорячившаяся тетя Эра распевала фальшивым и громким голосом. Маленькая, краснощекая, она была из тех редкостных женщин, которые без всяких усилий и в сорок, и в пятьдесят лет выглядят такими «своими в доску» рубаха-девками, совсем молодыми, со всеми недостатками и не со всеми достоинствами молодости.

— Эх, дороги, — фальшиво затянула тетя Эра. Александр Николаевич уже подтягивал:

Выстрел грянет,
Пуля летит,
Мой дружок в бурьяне
Неживой лежит...

... А дорога дальше вьется. Все дальше от того убитого дружка, который остался лежать в бурьяне за пылью и туманом времен. Так далеко она увела, эта дорога, вот уже и сын Александра Николаевича — почти ровесник тому, убитому. Вот он, сын. Отец взглянул на Володю. Тот сидел с неживым лицом и ни на кого не смотрел.

— Темная ночь, — завела Вера Павловна. Аня взглянула в окно, в глаза темноте.

— Темная ночь
Разделяет, любимая, нас...

Вот она, стоит невозмутимо, словно ничего не случилось, не прошло столько лет, словно с такой неизбежностью не настигла пуля того единственного, кто упал в бурьяне. Словно ее не касается, свистят пули или не свистят. Вот она: вплотную приблизилась к окну. Стоит и разделяет.

... Нет, это — не обыкновенное пространство, которое ничего не стоит преодолеть поездом или самолетом. И это не простая темнота ночи, темнота из-за того, что солнце на время отвернулось от земли. Это — тьма, поистине тьма, расплывающаяся и бесформенная, без души и без вины.

Тем временем военные песни допели, и, как бы встряхнувшись, Вера Павловна предложила:

— Ну-ка, молодежь, — теперь спойте ваши!

Молодежь растерянно переглянулась. То есть Володя не переглядывался, как если бы обращение «молодежь» не имело к нему никакого отношения. Переглянулись Аня с Тамарой — и тут же опустили головы, чувствуя, что после тех, отзвучавших, им петь нечего.

— Давай-ка, Анютка, эту твою... как она... ну, про камни.

— Да ну ее, совсем она не моя.

Но отец уже подстроил гитару, и взрослые затаили нудными голосами, в то же время довольно переглядываясь: вот, мол, мы и запросы молодежи понимаем:

—... В этой каменной стране

Я бы сама превратилась в камень

Лишь бы ты поклонялся мне.

Аня в нетерпении хмурилась:

— Пусть лучше москвичи споют нам что-нибудь московское.

Москвичи посоветовались и вскоре пропели странную московскую песню, видимо, совсем без мотива, про девушку, которая, выпивая стакан простокваши, отвергала пятьсот женихов.

Но вот уже пора и прощаться. Последние улыбки в коридоре, последние всплески ласкового голоса Веры Павловны.

Дверь захлопнулась. Отец повесил гитару на стену за клетчатую занавеску и теперь с будничным серым лицом стелил постель. Мать перед зеркалом снимала с себя бусы, и вместе с ними выражение радушной сердечности исчезало с ее лица. Когда Володя вошел в комнату, она сурово спросила:

— Ты где после школы шлялся?

— На стадион ходил, — невозмутимо отозвался Володя, искоса наблюдая за матерью.

— Ну, бог с тобой, — проворчала Вера Павловна, и по ее лицу было видно, что она успокоилась. Успокоилась, как был уверен Володя, именно потому, что он сказал неправду, и мать это почуяла и оценила. Анька никогда не может спокойно соврать, за это ее мать и не уважает. В самом деле, как бы он стал объяснять, что он просто гулял после школы по Васильевскому острову, потому что ему нравится этот район? И кому нужны его душеизлияния? Володя был на год младше сестры, но он уже твердо усвоил, что, если хочешь сохранить душевный покой, даже и в малейшем пустяке нельзя говорить родителям правду. Дело даже не в том, что соврать, а в том, чтоб именно соврать. Ведь неправда всегда глаже, благопристойнее и даже правдоподобнее правды.
